

О Пушкине и новых стандартах по литературе



Геннадий
Красухин,
доктор
филологических
наук,
профессор

Прежде чем вести разговор об эффективности изучения Пушкина в школе, напомню, что на всю литературу в 5–8-х классах отведено 2 часа в неделю, в 9-м — 3 часа, в старших, 10-м и 11-м, — 2 часа (в профильном — 4). Но министерству и этого кажется много. А иначе откуда оно возьмёт тот час в неделю, который будет отведён русскому языку для старшеклассников? Урежет литературу?

Однажды среди дискуссионных статей о школьной реформе мне попала одна с чрезвычайно красноречивым заголовком: «Литература! Вон из класса!..» Впечатление такое, что, называя так статью, её автор подслушал сокровенные мысли чиновников от образования.

А как по-другому прикажете понимать стандарты по тому же Пушкину (опубликованы в четвёртом номере «Учительской газеты» за этот год), которые вводятся в общей средней школе? Одна только пушкинская лирика занимает внушительный список: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). Не слабо? Министерство, очевидно, так не считает, потому что вместе с этими лирическими произведениями детям предложено изучить ещё три стихотворения по выбору.

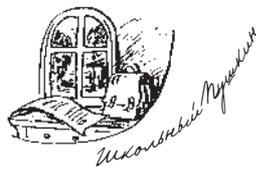
Для чего? Дай Бог школьникам вникнуть в названные мною вещи. Именно вникнуть, то есть понять, то есть изучить. А не «пройти их» (есть такой специфический термин, который означает прямо противоположное тому, что утверждает: пройти произведение — значит пройти мимо него!).

Ведь одной только лирикой изучение Пушкина в средней школе, разумеется, не ограничится? Конечно! По мысли чиновников, дети должны изучить ещё и одну романтическую пушкинскую поэму (по выбору), и «Повести Белкина», и «Пиковую даму», и одну любую из четырёх «маленьких трагедий», и «Дубровского», и «Капитанскую дочку».

(Я намеренно не касаюсь сейчас школ с родным — нерусским языком, где предлагают дать Пушкина и вовсе изуродованным: романтическую поэму — в сокращении, «Капитанскую дочку» — в пересказе, который деликатно назван «обзорным изучением».)

Успеют ли за два-то часа в неделю? Ну, пусть за три, как в 9-м классе?

Ох, понимаю, понимаю, как в этом месте возмутятся учителя: какие, дескать, два-три часа? Они ведь отведены на всю литературу, а не на одного только Пушкина!



Тем более актуально звучит вопрос: успеют ли? Тем более очевидно напрашивается ответ на него: «пройти» — успеют; неспешно вчитаться, чтобы изучить, — никогда!

Много лет я читаю студентам Московского педагогического государственного университета (будущим учителям литературы) спецкурсе «Художественный мир Пушкина». Начинаю с того, что беру стихотворение «Я помню чудное мгновенье» («К***»), которое студенты должны хорошо помнить со школы, и прошу растолковать мне его, ответить, о чём оно? Что побудило Пушкина написать его? И ни разу не получил ещё внятного ответа.

Так что, вместо того чтобы приступить к спецкурсу, вынужден выправлять вывихи школьного образования: показываю, в чём смысл стихотворения «Я помню чудное мгновенье».

Несомненно, подчёркиваю я, что восприятию этого пушкинского стихотворения мешает неизбежно звучащая при его чтении гениальная музыка Глинки, подменившая собой пушкинскую мелодию. Понятно, что Глинку мы за это винить не будем: он сделал то, что должен был сделать, и сделал превосходно — выразил себя, свои ощущения в своём романсе, написанном на пушкинский текст. Заявил о своих ощущениях с самого начала:

Я помню чудное мгновенье...

«Помню» — вот что подчеркнёт исполнитель романса, растягивая это слово, ставя на нём по воле композитора интонационное ударение. А потом, через некоторое время, пропевая:

*И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты, —*

сделает ударение на слове «забыл», нисколько не смущаясь тем, что поначалу речь как будто шла о настоящем, а не о прошедшем времени. И нас это не смутит: ведь мы имеем дело с романсом, а его логика далеко не всегда подчиняется нормативной грамматике: логика романса очень часто обусловлена обнажённой эмоцией. В данном случае слово «забыл» эмоционально усилено грустным сознанием тягостности существования «без божества, без вдохновенья, // Без слёз, без жизни, без любви». И наоборот — торжествующая жизнь словно возвращает в романс слово «помню». Его нет в пушкинском тексте, нет, разумеется, и в романсе Глинки, но оно мощно напоминает о себе в ликующей, патетической концовке:

*И сердце облетело в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.*

Но, повторяю, такая тональность романса мешает восприятию смысла пушкинского стихотворения.

В его первой строчке главное смысловое ударение падает не на «помню», а на слово «чудное», которое поэт, как правило, употреблял не в современном значении, синонимическом «прекрасному» или «замечательному», а в самом что ни на есть прямом — в том, в каком оно связано с чудом, с волшебством. Пушкин и здесь, в этом стихотворении, невероятно точен в передаче смыслового оттенка слова:

Первое мной явилась ты...



Не «возникла», не «очутилась», но именно — «явилась», не оставляя сомнения в том, что речь идёт о явлении героини герою, пусть и кратковременном:

Как мимолётное виденье... —

но по длительности вполне достаточном, чтобы сполна его оценить, чтобы запечатлеть его таким, каким оно пронзило и поразило душу:

Как гений чистой красоты.

Как давно уже замечено, «гений чистой красоты» заимствован Пушкиным из стихотворения Жуковского. Скорее всего потому, что в стихотворении Жуковского «Я Музу юную, бывало...» понятие «гений чистой красоты» интерпретировано в совершенно определённом смысле — как божество, стоящее над жизнью, над поэзией, или, точнее, вбирающее их в себя. Вспоминая о своей юности, о юной своей Музе, наполнявшей его ощущением, что «Жизнь и Поэзия — одно», сетуя на то, что «дарователь песнопений // Меня давно не посещал», боясь не встретиться с ним больше, Жуковский тем не менее не падает духом, потому что «дарователь песнопений» приобщил его к «гению чистой красоты», который (Жуковский верит в это) пребудет с ним вечно:

*Не знаю, светлый вдохновенный
Когда воротится к тебе —
Но ты знаком мне, кистый Гений!
И светит мне твой звезда!
Пока еще и слышны
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
Всёкое обдумать ожить.*

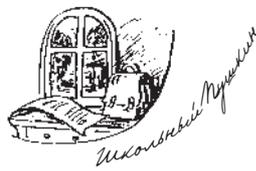
Заимствуя образ, Пушкин явно апеллировал к читателю, у которого стихотворение Жуковского было на слуху (оно напечатано незадолго до того, как Пушкин сел писать «Я помню чудное мгновенье...»). Но, с другой стороны, этот образ живёт в пушкинском стихотворении и независимо от своего создателя, живёт вместе со стихотворением Пушкина, едва ли не как его смысловой центр.

Ведь недаром у женщины, которая олицетворяет для Пушкина «гения чистой красоты», черты — «небесные». Недаром исчезнув, её «мимолётное виденье» лишило жизнь поэта полнокровности, обесценив его существование именно тогда, когда особенно обостряются ощущения прочности или непрочности связи человека с жизнью, с миром, — «в глуши, во мраке заточенья...». В данном случае герою стихотворения пришлось напрягать все свои душевные силы, чтобы выйти из того летаргического состояния, в котором очутился герой «без божества, без вдохновенья, // Без слёз, без жизни, без любви».

Но такова великая сила его потребности во всём этом, что он сумел вырваться из сумрачности своего существования, сумел прорваться душой к свету:

Душе настало пробужденье...

Собственно, ради этого и написано стихотворение: пробудившейся душе снова («опять») явилась та, кто олицетворяет собой «гений чистой красоты», который воскреша-



ет для человека «и божество, и вдохновенье, // И жизнь, и слёзы, и любовь». Оцените смысловой ряд некоего катрена, который составили рифмы двух заключительных четверостиший: «пробужденье — виденье — упоенье — вдохновенье». Три последних слова в нём зафиксировали состояние человеческой души, соприкоснувшейся с величайшей ценностью — с «гением чистой красоты»!

Знаю по опыту, что подобное толкование помогает человеку вступить в художественный мир Пушкина. Но где должно растолковывать это стихотворение? В институте? Тогда для чего включать его в школьный стандарт?

Понятно, почему составители стандартов хотят, чтобы семи-восьмиклассник изучил раннее пушкинское стихотворение «К Чаадаеву», — они следуют за советской школой, которая в этом произведении видела выражение вольнолюбивых мотивов поэта.

И эти мотивы действительно звучат в стихах:

*Товарищу, верь: взойдет она,
Звезда темительного счастья,
Россия вспрыжнет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.*



Вот только исправит ли нынешний учитель грубую ошибку советского времени, неизменно трактовавшего «самовластье» как «самодержавие»? Пока что мне с подобным исправлением сталкиваться не пришлось. А ведь самодержец — такой же легитимный правитель в монархическом государстве, как президент или премьер-министр в республиканском. И там и там может возникнуть самовластье, то есть диктатура, не признающая никаких законов. Иными словами, Пушкин выступает здесь не против самодержавия, а против беззакония — вот суть его вольнолюбивости!

А сможет ли учитель верно истолковать ученикам строчки из включённого в обязательные стандарты стихотворения «К морю»:

*Свобода земли повсюду та же:
Где каmlink блага, там и страданья,
Уже просвещенье или тиран.*

Сможет ли учитель опровергнуть известное в своё время скандальное заявление М.О. Гершензона, который писал, опираясь на эти строчки: «Пушкин, страшно подумать, враг просвещения!»? Для чего привлекать внимание школьника к этому стихотворению? Или составители стандартов решили, что ребёнок окажется прозорливей Гершензона, а если не окажется, то учитель сможет объяснить, что речь в стихах идёт об очень опасном для человеческой сущности примате учёности над духовностью? Конечно, хорошо, если сможет, но боюсь, что этого не сделает, потому что необходимость образовывать душу, о которой говорит здесь Пушкин, требует весьма просторного и подробного пояснения, на которое у учителя попросту не будет времени.

Идти дальше по стихам, предложенным школьникам как обязательный стандарт? По-моему, и без этого ясно, что их предложено неоправданно много. Так что какие там ещё «три стихотворения по выбору»? Дай Бог нашему теляти... дай Бог нашему ученику растолковать, понять, прожить душою лишь несколько из них — то есть осуществить то, зачем он пришёл на урок литературы изучать Пушкина — понять и полюбить его.

«Нет критики, где нет любви», — писал сам Пушкин об этом литературном жанре. Перефразируя его, скажем: нет педагогики, где нет любви.

Ну для чего, скажите, читать школьнику романтическую поэму Пушкина? На «Цыганы» ни у него, ни у учителя не хватит времени. А что до «Кавказского пленника» или «Бахчисарайского фонтана», то сам же Пушкин говорит об их слабостях: «Кавказский пленник» — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил...», «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил». Есть у Пушкина ещё одно произведение этого периода — поэма «Братья-разбойники». Но построенная как длинный монолог одного из братьев, она вряд ли удачней «Бахчисарайского фонтана».

Все четыре «Повести Белкина» я бы детям рекомендовал только для чтения. А для изучения (то есть для медленного чтения) выбрал бы одну-две. Ну, скажем, «Выстрел» и «Метель». Учёл бы, что мне с детьми нужно ещё разобраться в очень непростом «Дубровском» и раскрыть сердцевину удивительной и загадочной истории, положенной в основу «Пиковой дамы»: почему «обдёрнулся» Германи?

Почему, в самом деле? Ведь все назначенные призраком старой графини Германи карты выиграли: и тройка, и семёрка, и туз легли у банкомёта Чекалинского налево — а это значит, что выиграл не банкомёт, а понтёр Германи. И он бы выиграл, когда в последней партии уверенно открывал туза, «но вместо туза у него стояла пиковая дама»!

Иными словами, перед нами повесть очень сложного синтетического жанра, который в данном случае требует скрупулёзного рассмотрения. Смогут это сделать учитель с учениками? В принципе смогут, если дать им на это время. А кто ж им его даст?

Ведь «маленькую трагедию» (даже одну — по выбору) за один урок не раскроешь. К ней можно лишь слегка прикоснуться, обозначить контуры характеров персонажей, но не углубиться в эти характеры.

А кроме того, здесь же, в школе, ученикам предложена «Капитанская дочка». Как прикажете изучать её учителю? Как роман о народной войне (так определяла пушкинское произведение советская школа)? Но как тогда быть с тем, что сам рассказчик называет эту народную войну бессмысленным и беспощадным бунтом? А чтобы показать школьнику, что личные отношения, сложившиеся у Петруши Гринёва с Пугачёвым, вовсе не означают, что так же относится к Пугачёву Пушкин, нужно и в эпиграфы глав внимательно вглядываться, и к «Истории Пугачёва» обратиться (чего требует хотя бы неразъяснённая Лизавета Харлова из письма Маши Мироновой Петруше Гринёву).

Что же до старшеклассников, то на базовом уровне им предлагают такую лирику Пушкина: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», девятую песнь из «Подражаний Корану» («И путник усталый на Бога роптал»), «Элегию» («Безумных лет угасшее веселье»), а на профильном — помимо них ещё и «Разговор книгопродавца с поэтом» и «Вновь я посетил». Всё бы ничего, если б разработчики снова не решили, что и там и там лирики маловато. Вот и обязывают на базовом уровне изучить ещё три стихотворения по выбору, а в профильной школе — целых пять.

И это при том, что старшеклассники должны изучить едва ли не главное и не самое сложное произведение Пушкина — его роман в стихах «Евгений Онегин»!

(Снова открою скобки, чтобы удивиться прихотливости разработчиков стандартов для школ с родным — нерусским языком. Мало того, что «Онегина» предлагают дать в пересказе («обзор»), но в обычных школах — с анализом фрагментов, а в профильной — с анализом отдельных глав! Как это осуществить на практике? Анализировать можно только авторский текст, а пересказ — это неизбежная его сказовая адаптация, которая не автора представляет, а его сказителя! Лев Толстой вовсе не шутил, когда говорил, что должен заново писать «Анну Каренину», чтобы объяснить её содержательность!)

Ну в профильном-то классе, скажут мне, за 4 часа в неделю можно разобраться с «Евгением Онегиным»? Да, но там 11 (одиннадцать!) лирических стихотворений. А кроме того, не один «Медный всадник», как в обычной школе, но ещё и «Борис Годунов», драма, начавшая революцию русского театра.



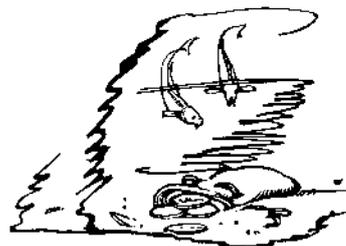
Кстати, по поводу «Медного Всадника». Мне уже доводилось писать о том тексте, который предложен нынешнему читателю. Поэтому поневоле придётся повториться.

Лет восемь назад оказался я в Сургуте на съёте региональных победителей конкурса преподавателей литературы «Учитель года». Победители проводили так называемые мастер-классы, вели в присутствии многих гостей открытые уроки с учениками известнейшей в Сургуте гимназии Салахова. Один из них был посвящён «Медному Всаднику». За каких-то полтора часа (сдвоенный урок) гимназисты усвоили себе художественную и историческую концепцию этой «петербургской повести», прониклись двойственным отношением Пушкина к Евгению и к основателю российской империи Петру, согласились с Белинским в том, что историческая правота в этой пушкинской повести на стороне Петра, который, создавая новую общность, новое государство, не мог уберечь от печальной участи тех, кто, как Евгений, попал под колёса государственной машины. Надо отдать должное учителю: он чувствовал поэзию, безукоризненно владел навыками поэтического анализа. И это дополнительно украсило его урок: стихи пушкинской повести ожили, их звукопись подтверждала тот смысл, который вложил в произведение Пушкина этот преподаватель.

Понимаю, что разочаровываю читателей: ничего нового в истолкование «Медного Всадника» учитель не внёс. Напротив, добросовестно донёс до гимназистов всё, что писали об этой пушкинской повести её исследователи, начиная с Белинского и заканчивая не так давно изданной, а потом и переизданной добротной книгой Александра Архангельского «Стихотворная повесть А.С. Пушкина «Медный Всадник». Но ведь учитель — не литературовед. Задача педагога — заинтересовать, заинтриговать детей книгой, которую вместе с ними читаешь, раскрыть её художественный мир, заставить ребёнка навсегда полюбить эту книгу.

Разбор урока, как следовало ожидать, был для учителя триумфальным. Присоединившись к этой высокой оценке, я всё-таки спросил: из чего исходит учитель, утверждая, что среди составляющих авторское чувство по отношению к Евгению немалую роль занимает ирония? Учитель был очень удивлён таким вопросом. Ведь сам же Пушкин написал о своём герое, ещё не лишённом разума, что тот «вздыхнул сердечно // И размечтался, как поэт»? И о чём он мечтает? А главное — как он мечтает?

*Ужаситесь ли? Ну... даким же нет?
Оно и тифозило, конечно,
Ну кто же, он молод и здоров,
Трудитесь ли день и ночь готов;
Он как-как себе устроит
Вширот смиривший и простой
И в нем Парашу успокоит.
"Взойдет, бить мочет, год-фургой —
Местехо полуху — Параше
Вреноруху хозяйство наше
И воспитание ребят...
И такими жить — и так до гроба
Руха с ружкой бойдем мы оба,
И вухи нас похоронят..."*



Что в подобном случае означает эта оценка «как поэт», спрашивал учитель, если не авторскую иронию? Ведь голос сердца героя («вздыхнул сердечно») полностью поначалу

перекрыт голосом разума, взвешивающего, стоит ли жениться? Сперва Евгений захвачен прозой жизни, ему не до сердечных излияний, не до поэзии!

— Ну, а что бы вы сказали, — спросил я учителя, — если бы мечты Евгения были бы выражены так? — И я прочитал стихи, которые припомнил и записал, пока учитель вёл свой урок:

*Уж не свадьба? кто же? Зачем же нет?
И в сапогах деле? Я устрою
Себе сморщеный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой... чего мне боле?
Не будем приходить мы знать.
Но воскресеньем лютым в поле
С Парашей буду я гулять;
Местечко выпрошу; Параше
Купюруку хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И вудки нас похоронят...*



Учитель взял у меня листок со стихами, перечитал их и ответил, что, будь именно они напечатаны в тексте, ему пришлось бы строить урок по-другому. Потому что в этих стихах на самом деле выговаривается душа человека. Эти мечтания действительно от начала до конца поэтические. Но откуда я их взял? Из рукописи, да? Тогда почему же Пушкин оставил их в рукописи? Может быть, из-за слов: «Местечко выпрошу...»?

— Но «выпрошу», — сказал я, — не значит, что Евгений собирается униженно кланяться, а значит только, что он уповаet на естественный в его время порядок прохождения по службе: женившись, человек претендовал на скромное повышение, если, конечно, начальство не имело к нему претензий. А по поводу того, как служил Евгений, Пушкин не оставляет никаких сомнений: человек, понимающий, что «трудом // Он должен был себе доставить // И независимость, и честь», не мог служить недобросовестно.

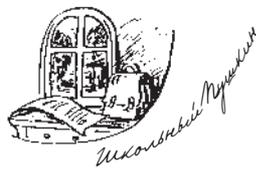
— Тогда почему же Пушкин заменил эти стихи, которые как раз отвечают его характеристике героя, теми, которые этой характеристике не отвечают?

— Это вопрос к публикаторам, которые, увы, давно уже умерли, — ответил я. — Но и не только к ним.

«Сознание вещь устойчивая — всегда там, где окопалось...» — справедливо написал однажды Андрей Битов. Когда в 1880-м в Москве появился опекушинский памятник Пушкину, на нём были выбиты такие строчки:

*И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим пробуждал.*

То, что выбили именно эти строки, неудивительно: в таком варианте они печатались с 1841 года, — сумели, стало быть, отложиться в сознании, по крайней мере, двух поколе-



ний читателей. Но через год после открытия памятника обнаружили, что четверостишие это правлено Жуковским, причём абсолютно в антипушкинском духе: Пушкин не только не утверждал мысли об утилитарности искусства, а, напротив, — боролся с подобной убеждённостью. Вспомните гневного пушкинского Поэта, бичующего чернь в стихотворении «Поэт и толпа»: «Тебе бы пользы всё — на вес // Кумир ты ценишь Бельведерский, // Ты пользы, пользы в нём не зришь...» Так вот. Обнаружили, что на памятнике Пушкину выбиты строчки, несущие в себе непушкинские мотивы. И что же? Поспешили исправить ошибку? Как бы не так! Этому воспротивились те, кто привык именно к такой редакции пушкинских строк. Что и понятно. Знавший наизусть, усвоивший с гимназической (школьной) скамьи стихи массовый читатель обычно не вдаётся в тонкости художественного мышления поэта. Он верит, что поэт написал стихи именно такими, какими они напечатаны.

(Да что массовый читатель? Даже такой авторитетный учёный, каким был А.В. Чичерин, признавался в вышедшей лет двадцать пять назад книжке, что нынешняя концовка пушкинского стихотворения «Мне не снится»: «Я понять тебя хочу, // Смысла я в тебе ищу» ему кажется менее выразительной, чем та, которая печаталась в его юности: «Я понять тебя хочу, // Тёмный твой язык учу». И это несмотря на то, что пушкинская строчка опять-таки была подменена Жуковским, невольно выразившим в ней своё, а не пушкинское мировоззрение!)

Только через пятьдесят семь лет после открытия памятника вернули на нём пушкинскую редакцию стихов. И то наверняка потому, что слова: «...в мой жестокий век восславил я свободу» были наполнены для коммунистических властей конкретным агитационным смыслом: «мой жестокий» — николаевский! Резон в этом, конечно, есть. Пушкин, в частности, говорил и о себе, и о своём времени. Но по большому счёту он писал о вечной задаче поэта отстаивать свободу перед жестокостью его современности. Другим пушкинским произведениям при советской власти везло значительно меньше. (К примеру, «Евгению Онегину». Не только из-за того, что в основной текст добавили некие рудименты так называемой X главы, никак тематически не связанной с романом. Но потому ещё, что, пренебрегая волей Пушкина, обесмысливали текст романа своими текстологическими решениями. Об этом совсем недавно дважды превосходно писал в «Новом мире» Максим Шапир.)

«Медный Всадник» среди подобных искалеченных текстологами пушкинских произведений впору объявить бесспорным лидером. До сих пор он печатается в такой редакции, которая полностью извратила смысл, вложенный в эту повесть Пушкиным.

Её заключения начались с того момента, как Пушкин, вернувшись 170 лет назад из Болдина, отдал повесть на цензуру царю. В том виде, в каком он представил «Медного Всадника», тот являл собой одновременно и реалистическое повествование, и мифологическое. Причём одно дополняло и разъясняло другое. Особенно это относится к главному герою повести, безумство которого в реалистическом повествовании оказывалось сильно скорректированным в мифе.

Замечания царя оказались настолько серьёзными, что Пушкин вынужден был записать в своём дневнике: «Всё это делает мне большую разницу». Потому, наверное, что, изгоняя из «Медного Всадника» слово «кумир» (так был назван памятник Петру), потребовав изъять из повести или переписать бунт Евгения и отпор ему, царь рушил её идейное построение и даже (конечно, не предполагая этого) покушался на её сложный жанр, то есть на основу основ художественной вещи.

Что оставалось делать Пушкину? Ждать. Тем более что похожий прецедент уже был. По поводу представленного ему на цензуру «Бориса Годунова» Николай начертал: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман на подобие (так в оригинале. — Г.К.) *Вальтер Скотта*». Тоже покушался, но не на жанр, а на литературный род. А потом со временем изменил своё решение. Разрешил публикацию пьесы.

Но в то время отношения недавно взошедшего на престол царя и возвращённого им из ссылки поэта только начинали складываться. А к 1833-му они ощутимо испортились и стали почти невыносимыми для Пушкина в 34-м, когда, задумав переменить образ жизни, уехать из столицы в деревню, чтобы заняться творчеством, он подал прошение об отставке, которое взбесило царя. И если бы не Жуковский, который заставил Пушкина забрать своё прошение назад и этим обуздал ярость Николая, дело для Пушкина могло окончиться весьма плачевно — царской опалю. Но и без этого ничего хорошего от царя Пушкину ждать не приходилось: по-прежнему требуя, чтобы поэт ему представлял на цензуру свои рукописи, Николай нарушил обещание, данное Пушкину, быть единственным его цензором. Так что после личной, царской, за дело принималась самая обычная цензура, добавлявшая свои замечания, вымарывавшая строки, которые казались ей крамольными.

Ждать с публикацией «Медного Всадника» оказывалось для Пушкина делом бесперспективным, и он в 1836 году вытащил повесть из стола, чтобы попробовать устранить ту «большую разницу», которую сделали ей царские замечания.

Прежде всего, он убрал из текста жанровое обозначение, которое звучало так: «Вечерний, страшный лишь рассказ, // А не зловещее преданье». «Страшные рассказы» у Пушкина — это мифы, мифологические сказки, которые, к примеру, пленяли душу его Татьяны. Теперь он называет жанровую структуру вещи «повествованием, печальным рассказом». Не понравившегося царю «кумира» Пушкин заменяет «седоком», бунтующего Евгения, стоящего «перед горделивым истуканом», заставил стоять «перед недвижным Великаном» и, по существу, отказаться бунтовать. Потому что хотя и поднял в новой редакции Евгений перст «с угрозою», но выражена она так тихо, так слабо, так немощно, что, право, не заслуживает того отпора, который был дан Евгению Медным Всадником, преследовавшим его своим «тяжело-звонким скаканьем».

Что ещё? Отпор Евгению, несмотря на требование царя, Пушкин переделывать не стал (может быть, готовился его просто вычеркнуть?). Переделал кое-какие стихи, и не отмеченные Николаем. Так, он убрал два, на мой взгляд, очень важных знаковых момента. Прежде в ушах безумного Евгения раздавался не только «мятежный шум // Невы и ветров», обездоливших Евгения и на какой-то момент сделавших его своим союзником, бунтарём против «кумира». Евгений ещё «оглушён // Был чуждой, внутренней тревогой». А слово «чуждой» у Пушкина, как я уже здесь писал, всегда связано с «чудом». Это слово поэт убрал, написав: «Он оглушён // Был шумом внутренней тревоги», то есть повторил то, о чём уже говорил — приравнял мятежный шум стихии к шуму внутренней тревоги героя. И, кроме того, лишённый разума Евгений в новой редакции носит «картуз», а не «колпак», не зря напомиравший о колпаке Юродивого из «Бориса Годунова». Миф есть «развёрнутое магическое имя», — говорил А.Ф. Лосев. Убрав «чуждую» тревогу, оглушавшую безумца и его «колпак», Пушкин убирал следы прежнего мифа в «Медном Всаднике», чей герой в конечном счёте оказывался юродивым, то есть, по определению В.И. Даля, «Божьим человеком», всеведающим, пронцающим истину.

Иначе говоря, Пушкин разворачивал своё повествование в какую-то иную сторону, чем прежде. В какую? Мы этого не знаем: правку Пушкин не завершил. А незавершённая правка есть свидетельство неоформленного замысла, и если Пушкин не смог, как ни пытался, оформить какой-то новый замысел, возникший в результате царского вмешательства в повесть, то не значит ли это, что остаётся в силе старый замысел, реализованный поэтом до вмешательства царя, и что поэтом незавершённая правка должна быть отменена полностью?

Конечно, как всякий художник, Пушкин мог захотеть и что-то улучшить в рукописи, пролежавшей у него в столе три года. Но «улучшить» у Пушкина — понятие всегда содержательное, связанное с максимальной полнотой воплощения общего замысла, представления о котором незавершённая правка дать не может. Она может дать представле-



ние о направленности пути, каким движется художник, но она не в состоянии обозначить его конечную цель.

Поэтому та операция, которую произвели над текстом «Медного Всадника» советские пушкинисты, кажется мне кошунственной. Они взяли рукопись, которую начал править Пушкин, отметили как искажающую смысл его правку стихов, отмеченных Николаем, а остальное напечатали, убеждённые в том, что «остаётся текст «Медного Всадника», превосходящий, конечно, все остальные» (Т.Г. Зенгер-Цявловская), что «текст «Медного Всадника» 1936 года совершеннее текста 1833 года» (С.М. Бонди).

(Любые вкусовые ощущения субъективны и, стало быть, недостоверны, даже если они высказаны таким авторитетным учёным, как С.М. Бонди. Но в данном случае он оказывается дважды не прав, ибо законченного текста 1836 года мы не имеем. А это значит, что мы не можем рубить сплеча: совершенной или нет этот текст законченного текста 1833 года. Можем только высказать догадку: доведи Пушкин правку до конца, ему, быть может, удалось бы написать нечто совершеннее прежде написанного. И подкрепить нашу догадку некоторыми правленными стихами, которые мы нашли бы совершеннее прежних. Но и такой метод сомнителен. Не только потому, что утопичен. И не потому, что в самом начале статьи мы показали, от каких прекрасных стихов, выразивших мечты Евгения, публикаторы отказались, заменив их стихами, явно им проигрывающими в художестве. В конечном счёте совершенство текста определяется тем, насколько полно и точно воплощено в нём авторское «художественно-идеологическое сознание» (М.М. Бахтин). А о какой же полноте этого творящего сознания может идти речь в незаконченном тексте? И как мы можем судить о точности его воплощения, если нам не открыт общий замысел?)

Иными словами, текст «Медного Всадника», который печатается сегодня и к которому привыкло уже не одно поколение читателей, являет собой некую контаминацию, составленную из завершённого и незавершённого пушкинского текста теми, кто самозванно взял на себя роль душеприказчика поэта!

Понимаю, что всё это относится к текстологии, в данном случае способной восстановить истинную содержательность повести. Но уж никак не в школе. И уж кто-кто, а разработчики стандартов по литературе, уверенно рекомендовавшие «Медного Всадника» для изучения старшеклассникам, обязаны быть в курсе его злоключений, должны знать, что в нынешнем виде школьники будут иметь дело с фактически непущинским текстом! Иначе чего стоят их рекомендации?

Ах, много можно ещё задавать вопросов. В школе изучают не одного Пушкина. Но вот — уже на примере только пушкинских произведений, предложенных для изучения, мы видим, какими непосильными тяжестями пытаются нагрузить ребёнка!

Для чего? Чтобы он так и не постиг смысла существования школьного предмета литературы — покинул школу, не любив книгу?

